



Страсть в поэзии В.Я. Брюсова

© Т. А. КОШЕМЧУК,
доктор филологических наук

Одной из важнейших брюсовских тем является тема страсти, которая в его лирике предстает в образности библейского контекста, как «путь в Дамаск» или дар Люцифера в раю, в итоге же как выход за пределы только человеческого. Из подобных переживаний в брюсовском творчестве рождаются христианские мотивы, не приведшие, однако, к обретению прочной религиозной позиции.

Ключевые слова: поэзия В.Я. Брюсова, символические образы, библейский контекст, онтологические аспекты, христианская традиция.

«...Что думал ты в такое время, когда не думает никто?» – спрашивает пушкинский Мефистофель у Фауста. Брюсову *было бы что ответить*, ибо он – думал, и думал многое. Из этих самоотчетов и рождалась брюсовская онтология страсти, сопряженная с глубинными религиозными порывами. Ярчайшим доказательством этому является стихотворение «В Дамаск» (1903), насыщенное церковнославянской лексикой:

...
Водоворотом мы схвачены
Последних ласк
Вот он, от века назначенный,
Наш путь в Дамаск!

«Пути в Дамаск так разнообразны и неожиданны...» [1. Т. 6. Кн. 2. С. 666] – эту запись можно найти среди незаконченных фрагментов М. Волошина; в ней тот же образ, что и у Брюсова. Но Волошин говорит о том, что часто отталкивание есть скрытая возможность притяжения, подразумевающая ситуацию превращения гонителя христиан Павла на его пути в Дамаск в апостола Павла. И из разнообразных путей рус-

ского символизма, пожалуй, самый неожиданный – брюсовский; пути же эти, все, по Волошину: вели от реализма – к мистике, представляя собой лишь разветвления единого «теософского пути Богопознания» [Там же. С. 659].

У Брюсова стихотворения, тематически связанные с христианством, выдержаны, в общем, вполне корректно в духе традиции, при одной чрезвычайно рискованной трактовке – пути в Дамаск. Этим путем оказывается у Брюсова страсть. Волошин говорил о страсти к власти, но именно страсть любовная определяет все в брюсовском поэтическом мире, и нет в русской поэзии более сгущенной и экстатической страстности, чем у Брюсова, исследовавшего эту стихию подробнее, давшего ее детально разработанную феноменологию в разных аспектах – телесной обнаженности, душевной растерзанности и духовной пронзенности. Разве что у Блока [2], который не случайно так истово отреагировал на «URBI et ORBI», восприняв именно эту стихию, уже созревшую и ждущую выраженности в его собственном творчестве, захватившую его далее в период второго тома.

В брюсовских исследованиях страстей есть именно стремление к бытийственному их постижению, к созерцанию за властвующей стихией страстей действия высших сил, духовных существ – то есть к своего рода онтологичности. В этой теме дышит религиозное, оно дается непреднамеренно и звучит подлинно, не как переложение только мотивов традиции, но как опыт собственного проживания и анализа. Тайна страсти связывается с земной воплощенностью духа, тема прорастает именно в эту сферу – к тайне плоти мира, в которой нуждается дух для своих земных путей. Тема в этом ракурсе созревает у Брюсова на рубеже веков, в период его «третьей стражи» и будет звучать далее, являя те или иные грани, – проследить их стоит не хронологически, но в трех основных смысловых аспектах.

Первый – божественность страсти. И не в тональности риторического восторга, но напрямую и буквально. Так, поэт перечисляет в стихотворении «Отрады» (1900) восторги жизни, четыре «отрады», это способность сознавать, поэзия, восторг любви, наконец, радость предчувствия, «что за смертью есть мир бытия», – все это «предвестия Бога», «молитва на лоне Отца» – здесь звучит из глубины брюсовский голос: восторг любви как предвестие Бога и как молитва – рискованная мысль, речь ведь идет не о платоническом восхождении – но о любви в ее самой сгущенной плотскости. Здесь читатель вправе усмотреть мысль брюсовскую, личную тему поэта, который обретает к началу 900-х годов вместе с тем и насыщенность, интенсивность стиля, самобытность стиха. Причастность страсти, вне зависимости от сопутствующих чувств, божественному началу у Брюсова высказана напрямую: «И страсть, как посланницу Божью, / В горящей мечте узнаю» – в стихотворении «Эпи-

зод» (1901), где речь идет именно об *эпизоде*... Еще ярче дается то же в образной ситуации – «В Дамаск» (1903): «Тайнства снова свершаются, / И мир как храм». Страсть – обряд «в великой обители», и «ангелы, ни преклоненные, / Поют тропарь». Итог подчеркнут рифмой: *ласк – Дамаск*: «Водоворотом мы схвачены / Последних ласк. / Вот он, от века назначенный, / Наш путь в Дамаск!»

Здесь кульминация страсти – возможность и путь к переживанию божественного, более, в соответствии с символическим смыслом образа, это ожидание невероятного видения, мгновенно преображающего жизнь. Причем в сами миги переживания на грани жизни и смерти (Свидание, 1901) подыскиваются слова для его выражения, и оно предстает как свершение едва ли не космическое, последняя и высшая точка земного (речь идет всего лишь о свидании в доме разврата), оно же – смерть: после стремительного течения потока, несущего челн буйными волнами, – «Ладья летит быстрее... и рухнул водопад». Совершается бытийное осуществление, сбывается судьба:

И мне пригрезилось: сбылась судьба земного.
Нет человечества! Ладью влечет хаос!
И я, встречая смерть, искал поспешно слова,
Чтоб трепет выразить последних в мире грез.

И если «страсти яростный язык» противопоставлен иногда любви (страсть – лишь снящийся сон, пробуждение – любовь, ее вечный свет), то глубже и подлинней у Брюсова – утверждение божественности самой телесной и страстной природы человека, что обосновано в повторяющемся, ключевом образе в постижении темы – библейский Рай, в нем Адам и Ева с их первой райской страстью; с трагедией в Раю связано рождение сладострастия (а признак Рая – отсутствие его), сорванный и «раздавленный» плод – утрата невинности, и красный сок его – «Знак Святого Гнева» (Адам и Ева, 1905). Многие оттенки образа даны у Брюсова лишь как намеки, которые, для полноты понимания, нуждаются в глубоком погружении в духовную традицию. Например, варьируемая брюсовская мысль: природа страсти – это влечение к утраченному Раю, где она впервые была испытана. И здесь не поэтическое преувеличение чувств, не просто банальные райские блаженства любви: «земной душе» Рай, как духовная реальность, дан в ее собственной глубине. Рай достигается на миг в страсти, он предстоит неизменно в мечте, и – пишет поэт: «За ней влекусь к предсказанному раю!» (К Пасифае, 1904), в этом страстном влечении – «воплощенье тайны мировой». А потому, по мысли поэта, чувства (речь идет о чувствах земных и непосредственных, об эмоциях души) – любовь ли это, отсутствие ли ее, или даже насмешка, вражда, – это все лишь внешнее, несущественное – в страсти, перед ее непостижными глубинами. Потому упрек Ходасевича, что Брюсов не

полюбил никого, несправедливы. У Брюсова есть иное вместо этого, столь морализаторского: глубокое сострадание друг другу двоих, схваченных неизбежностью и мукой, она, героиня, – как нежная сестра, он, герой, – как страдающий брат в единой обреченности. И это звучит многократно – и в сюжете высокого чувства, и купленной любви.

Общее страдание двоих и в необретении Рая, в итоговой призрачности мечты: в стихотворении «Благословение» (1908) звучит благодарность за все (это в поэтической традиции), и – «За то, что влекся за тобою к Раю, / За то, что стыну у его дверей!». Страсть открывается в этой врожденности влечения к Раю, в ней обретаются «святые миги», здесь дышат высшие силы. Но и нечто иное: в теме Рая изначально соединено божественное и люциферическое.

Рок встает за неизбежностью страсти, так открывается и пересиливает второй, темный аспект темы. В страсти правит «не случайность, не любовь, не нежность, – / Над нами торжествует – Неизбежность» (Неизбежность, 1909), и за ней – «Бог или Рок, не все ли нам равно!», «не нами наша участь решена»... Ощущение предопределенности «неотвратимой боли» дает возможность уловить сверхличной, не в воле человека лежащий источник переживаемого. Отсюда особенное, брюсовское: *ужас, медленный и вещей ужас сладострастья*.

Вторая брюсовская тема: в ужасе страсти открывается – демоническое и темное: смертный холод, боль, смерть, тьма, в конечном счете, умерщвляющее и гибельное плотски-ариманическое (дьявол–Ариман). Эти контрасты божественного и демонического, как ни у кого, напряжены у Брюсова, полярность их дана в подробнейше описанных телесных, душевных и духовных проявлениях. «Неспешный ужас сладострастья» благословляется «стоном счастья», и в нем же: «... смертный холод лезвия, / Вбирает жадно жизнь моя». Сквозь это окно прорывается в сознание глубина низин: *бред* страсти вскрывает «души нагое дно»; в страсти являет себя «мир... / Бесформенный, безобразный, иной...» (Таинства ночей, 1902), высказывают себя существа миров иных, «тени бестелесные», умершие – таково еще одно таинственное переживание поэта, исследующего природу страсти и – изумительным образом – открывающего то, что вряд ли мог бы объяснить его собственный дневной и трезвый рассудок. Читатель же для понимания описанного может обратиться к антропософскому вскрытию темы и, при знакомстве, постичь, удивляясь, насколько прожитое поэтом соответствует гнозису сознательного проникновения.

У Брюсова в ряду образов страстной муки – клинок, стрелы, гвозди, казнь, плаха, кровавая пытка, «кубок с влагой черной», «внесенный меч» (Кубок, 1905): «Где же мы: на страстном ложе / Иль на смертном колесе?» (В застенке, 1904). А также: «крестные муки», «сораспятие на муку» (Там же) – и это в опережение будущих эротических тем

Вяч. Иванова. И кульминирует в свершении страсти и этом образном ряду – ад: «Чу! красных крыльев взмахи! / Голгофа кончилась. Свершилось. Мы в аду». Ад – после Голгофы страстей, это итог ее: образы сведены здесь в немыслимое, но опытно достоверное потрясающее единство. Но – далее! – порой встает и разворачивается в мысли поэта за этой полярностью: рай (данный глубокими, но немногими воплощениями) и ад (как один из грозных, варьируемых лейтмотивов), в их многообразных смещениях – еще одна глубинная, третья, тема: страсть как царство Люцифера, и любимая брюсовская идея Пантеона, многобожия, уже в час «третьей стражи» воплощается как люциферическая; в этом узнании Брюсов опережает своих соратников по символизму, возводя идею духовной всеядности к библейскому искусителю, говорящему: станете как боги. «Я – первую заповедь давший: / Есть много богов»; «Я вам принес благовест, / Мечты былых веков: / Что в мире много истин есть, / Как много дум и слов».

Уже само трезвое понимание люциферического источника страстей – есть познание и, как таковое, возможность христианства. Поразительны брюсовские описания как бы с точки обзора Люцифера, зовущего в свои духовные миры – из косного замкнутого земного града туда, где страсти, воля, «поле», «солнце», «высота степеней!», с его заповедями – «сделать мир единой дрожью», «упиться истиной и ложью», «любить» и «бросаться в пропасти греха». Отсюда исключительно напряженное самочувствие, ощущение себя носителем некой миссии, новой человечности, подтвержденной видениями: люциферические подменные ангелы, не всегда узнаваемые, являются в торжестве страсти. «Серафимов вереницы / Наше ложе окружили. / Веют в пламенные лица / Тихим холодом воскрылий...» («Серафимов вереницы...», 1905); «Строгие свечи – / Ответы рая – / В небе мерцали / Перед иконами / Ангелы пели / Гимны хвалений...» («Когда мы бывали...», 1905). И над этой «открытой бездной», «перед соблазном тьмы» – видение двоим: «Крылья! крылья! крылья! – / Яркое виденье / Ослепило нас». В нем является Люцифер: «Страшен и неведом, / Там Крылатый Кто-то / Озарен огнем. / Следом! следом! следом! / В чайньи полета / Бросимся вдвоем!».

Упоение сладострастьем, гибельность его – нигде, вероятно, не описаны у Брюсова ощутимей, чем в лирических поэмах четвертого сборника – «Город женщин» (1902) и «Последний день» (1903), когда и неведомый город, и вся земля последнего дня в видениях поэта оказывается отравленной этим веянием сладострастия – «блаженством земным», когда благодарения за него поднимаются «...до Божьих подножий, до ангельских ликом, / Мирам славословя блаженство земное».

В стихотворении «В пустынях» описан подлинный лик Люцифера: «Соблазнитель! Бесстрастный учитель / Мечты и гордыни». Он говорит о выполнении обещаний, данных в Раю, – он дал, как и обещал, – вос-

торги, виденья, сладость – и в итоге его пленники верны ему и в пустыне. И в поздние годы Брюсов возвращается к библейской легенде, к завету Люцифера, описывая страсть: «Исчезает из душ человеческое... / “Будете вы, как боги!”» (Качели).

Именно в переживании страсти осуществляется это «как боги» – в человеке дышит не человеческое (здесь, разумеется, не просто мораль), но то, что выводит человека в духовное, – об этом стихотворение «Качели»: любовь уносит в иные, запретные, закрытые для нашего мира области, «И сердца, содроганьем охваченные, / Отвечают безвольно качанью». И здесь стихи Брюсова выговаривают одно из его изумительнейших переживаний: то, чем схвачены сердца двоих в пароксизме страсти, это таинственное содрогание оказывается общим у человека со светлыми и темными духами, отсюда ужас его и соединение в нем божественного и демонического:

Лики ангелов, хор воспевающие,
 Вопиющие истину Божью,
 Созерцают виденья сверкающие
 С той же самой мистической дрожью.
 И, свидетель их светлой восторженности,
 Робко взор уклоняя незрячий,
 Содрогается, в муке отторженности,
 Падший дух в глубине – не иначе!

В этой общности человека, ангелов и демонов Брюсов видит разгадку библейских слов *будете как боги*, в этом и заключается, в конечном итоге, глубинная тайна, вещей *ужас* страсти. Только вот, право, не люциферическим ли ангелам, неопознанным, дана эта дрожь «сверкающих видений»? Ответ изнутри христианской традиции однозначен. Или из разговора русских антропософов: «...обсуждали люциферическую любовь. О том, как Люцифер стремится надеть маску на чувственную любовь, старается низменную земную любовь представить в поэтическом облике и тем ввести в обман» – с отсылкой к словам Р. Штейнера: «Нигде в наши чувства Люцифер не вмешивается так, как там, где люди, исходя из своих страстей, вожделений, стремятся к Божественному, не осветив этого Божественного лучами сознания» [3].

Из *ветхого ужаса* этого «страшного, страшного сна», с его «пламенным жгутом» (Снова, 1907), из нестерпимости его – поэт обретает порой исход: душа взывает к Богу! Из умерщвляющей стихии страсти («божественность» которой явно угасает в развитии темы) рождается молитва поэта: «Боже сильный, власть имеющий, / Воззови нас к жизни вновь...».

Спасением становится обращение к *новому*, христианскому. Подлинные религиозные порывы поэта, опытно, через страсть постигающего прикосновения к страшным мирам иным. И за этими прозрениями дана

возможность обретения – в поздних стихах. Это тонко намеченная христианская тема: угаданы суть удавшегося искушения и обреченность на муки, и выступает новое чувство: «...И все спокойней, все покорней / Иду я в некий Вифлеем» (Звезда, 1906).

Или глубокие и подлинные ноты цикла «Близ милых уст» (1914–1917). «Это – надгробные нении...» (1916) – оплакивание угасших *любвей*, и снова благодарение за все, вновь благословение, подытоживающее жизнь:

Сердце окрепло в борении, дух мой смелей и суровой;
Ныне склоняю колени я, крест мой беру без условий...
Так колебался все менее ангелом призванный Товий.

...Когда-то, еще в «Пророчестве» 1896 года Брюсов дал первый штрих к затронутой теме, предсказывая себе как судьбу призрачность всего прожитого – в рефрене стихотворения: «...будет все лишь тенью, лишь обманом!» – в тройком проявлении: в страстях, в стихах, в поиске Бога. Он постиг в властвующей им страсти грозное дыхание высших сил, ощутил в них и божественный свет, и люциферическое сияние, и сгущенно-плотскую тьму ада, и жизнь в безбрежности, и смерть во тьме, и жажду христианского исхода – все это в самых мучительных и причудливых сплетениях. И воззвал же к *новому!* И именно в этом читатель может обрести отраду после скитаний – вместе с поэтом – на его неверных путях. Ведь стремление к Дамаску не стало судьбой и правдой поэта, а значит, не создало *новой темы*, и, при зрелости мастерства, Брюсов остался поэтом страсти, поэтом *без истории*, пленником своего недостроенного пантеона.

Литература

1. Волошин М.А. наброски, фрагменты // Собр. соч. М., 2008.
2. Свасьян К.А. Голоса безмолвия. Ереван, 1984.
3. Из «Фрагментов» дневника Зои Дмитриевны Канановой // Toronto Slavic Quarterly. 2013. № 46. С. 248.

Санкт-Петербургский
государственный университет